



ПОВОРОТ, КОТОРОГО НЕ РАЗРЕШИЛА МИЛИЦИЯ

День Победы пришел жданным и неожиданным. Где-то в далекой Германии прогремел последний орудийный выстрел, где-то в поле умирал солдат, и слезы обиды застилали ему глаза, мешая видеть чистое майское небо.

Устала махать косой смерть. Вытерла пот и, не спеша, принялась выкашивать в госпиталях и медсанбатах. На безруких, безногих, шрамами изуродованных косилась, но не трогала — пускай живут, пускай помнят, что такое война. Пускай детям и внукам о ней расскажут.

В День Победы Галина вместе со всеми кричала на улице, смеялась, обнимала всех встречных знакомых, малознакомых и совсем не знакомых людей. И все смеялись, все кричали непонятное, ликующее.

Победа! Казалось, пройдет ночь — и все станет по-другому. Привезут в магазины продукты и разные товары. Не надо будет делить одну черствую корку хлеба на троих; в чай будут падать кусочки настоящего сахара, всю заношенную до многих заплат одежду можно будет пустить на тряпки, а еще лучше — сжечь осточертевшие лохмотья.

Вечером, впервые за долгое время, Галина заговорила о возвращении в Ленинград.

— Да хоть бы скорее уже, — поддакивала мать.

ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НАДО

Повесть

— И меня возьмете? — спрашивала Маринка.

— Нет, здесь оставим, — смеялась Галина и прижимала к себе дочку.

Пока были только разговоры о переезде, Акулина Поликарповна поддакивала, но когда Галина сказала:

— На этой неделе едем.

Старуха широко открыла глаза:

— Куда ехать? Ты что, одна? Еще в прошлом году Нинка писала, что наш дом разбомбили. Приедем в город, а там по всей Нарвской ни одного целого дома нет. Что делать будем, да еще с дитем? Сядем на обгорелые кирпичи и Лазаря петь будем? Ты езжай, посмотри, что и как, а потом уж и мы в путь-дорожку двинемся.

— Что же там, людей живых нет? Или ленинградцы хуже здешних сельчан? Приютят где-нибудь.

— Было бы где приютить. Там, небось, в каждом целом доме, как огурцов в кадке, людей понапихано.

— Вольному — воля, спасенному — рай, — сказал председатель колхоза Ковальчук, в ответ на просьбу Галины. Нагнул голову, залез пятерней в шевелюру. — Мне, понимаешь, тоже в город хочется, по асфальту каблуками: поцокать, в киношку каждый день ходить. Только боюсь. Боюсь, что махнем мы все в город, а там и кино не будет — с голодухи все киномеханики перемрут. Езжай. Руки у тебя добрые, а голова, похоже, с ветерком. Нет понятия о текущем моменте. Езжай...

Легко строить планы, трудно их осуществить. Почти всю дорогу до

Москвы — трое суток — пришлось стоять на ногах в проходах вагонов, до отказа набитых людьми, чемоданами, сундуками и мешками. На вокзалах толпы народа. Казалось, вся Россия переселилась на вокзалы и в железнодорожные вагоны.

В Москве перебралась с Курского на Ленинградский вокзал и через день добыла

билет на поезд, который вокзальные завсегдаги окрестили «пятьсот веселым». Длинный состав красных теплушек подогнали к перрону. Бывшая грузчица, привыкшая ворочать многопудовые чугунные чушки, Галина с трудом прорвалась в теплушку, заняла место на верхних нарах. Легла, положив под голову отощавший мешок с едой.

Вслед за Галиной на нары прыгнул мужчина в солдатском обмундировании без погон. С привычной сноровкой расстелил шинель, улегся рядом.

— Чего к бабе лепишься, солдат? — крикнули снизу.

— А хотя бы того, что я с сентября сорок первого года рядом с женщиной не лежал.

Галина придвинулась к стенке вагона,

— Я к тебе в кавалеры не вяжусь, — сказал сосед. — Еду к жене. Для нее силы берегу. Можешь из себя лепешку не делать.

Двое суток «пятьсот веселый» одолевал шестьсот километров...

— Слушай, соседка, давай откроем окошко. Чует мое сердце, что к Питеру наш «экспресс» подкатывает.

Приподняли железную ставню. За окном виднелись зеленые заросли кустарников, опаленные с краев воронки. Заполненные водой, они мелькали синими озерами.

— Кидали, гады, по эшелонам с детьми и стариками. Всю землю исковыряли. В городе, небось, живого места не осталось... Еду к своей благоверной, а жива ли она — не уверен. Понимаешь, получил письмо, что квартиру нашу фрицы в кучу мусора превратили. А тут меня снайпер подловил. В госпиталь живой ногой доставили. И стало так, что я

ее адреса не знаю, а она, может быть, и писала мне, да назад письма получала. Вот такая жеребятина у меня произошла.

— Почему жеребятина? — засмеялась Галина.

— А потому, что у нас, фронтовиков, весной и осенью, в самую распутицу, всегда плохие времена были. Жрать нечего. Тылы отставали, по грязи буксуя. Ходили мы тогда битых лошадей искали. Это добро не всегда свежим было. Но в котелок шло. Потому и жеребятина.

...Большой четырехэтажный дом, в котором она жила до эвакуации, стоял черной от копоти коробкой и грустно смотрел на нее пустыми глазницами оконных и дверных проемов. Угол дома был отбит взрывом, неуклюжими полками фантастической этажерки повисли площадки лестницы.

— Галька, это ты?

Галина обернулась. Перед нею стояла бывшая соседка по квартире.

— Ой, Кира! Да какая же ты худая!

— Ну, разве это худая? Я уже, можно сказать, разъелась после блокады. Теперь хлеба, хоть понемногу, но дают, крупы кое-какие бывают, жиры. Акулину Поликарповну и Маринку тоже привезла?

— Пока одна.

— Тебе, видно, не так уж плохо жилось. На костях мясо есть. Пошли ко мне. Что тут стоять. Дали мне комнату, когда дом разбили. Фирсовых всех тут накрыло. Бабушка Макариха сгорела, Верочка Старостина тоже тут погибла. Было, в общем, дело... Петр в сорок четвертом без вести пропал. Одна живу. Давай вези своих домочадцев, заживем. Одна, как сова в дупле. Страшно.

Галина побывала на заводе. В отделе кадров ей сказали:

— На работу примем с превеликим удовольствием, но для этого надо прописаться,

Началась беготня за разными справками, бланками.

Милицейский майор перелистал бумажки, принесенные Галиной, и устало оказал:

— Дать разрешение на прописку не могу.

— Как не можете? — растерялась Галина.

— Граждан, побывавших на оккупированной территории, в Ленинграде не прописываем.

— Я ж не по своей воле.

— Все так. Почти все. Я вас отлично поднимаю, но помочь совершенно ничем не могу.

Через день она снова стояла в очереди за билетом.

Люди сидели на вокзале. Это было великое сидение. Здесь жили неделями, насквозь пропитавшись запахом карболки. Спали на вещах, на массивных дубовых скамьях, не обращая внимания на густой гомон, наполнявший помещение.

Простояв целый день у кассы, Галина принялась искать, где можно посидеть, отдохнуть.

Неожиданно рядом раздался знакомый голос:

— Здорово, соседка! Ищешь место приземления? Давай вместе искать.

— Давай, — с радостью согласилась Галина.

— Впрочем, чего его искать. Вот, готовенькое. Эй, борода, это тебе не номер в гостинице «Интурист», а обыкновенный вокзал. Прими сидячее положение и дай людям сесть.

— Много вас тут, таких начальников, ходит, — спокойно отозвался бородатый мужик, не собираясь принимать «сидячее положение».

— Слушай, дядя, я тебе предлагаю по-хорошему быть человеком, а ты ведешь себя, как скотина,

— Ты, племянничек, потише. Могу нечаянно задеть лаптем, и сдачи негде взять будет.

— Получишь сполна, можешь не сомневаться, — пообещал Галин попутчик и сбросил ноги бородатого со скамьи.

Мужик сел, до хруста в костях потянулся и спросил:

— Закурить нема?

— К господу богу, за подающим. Там у него специально для таких, как ты, есть лавочка. Бесплатно дают.

— Сам сбегай, если такой скорый.

Федор откинул лобастую голову на спинку дивана. Закрыв глаза.

Бородач зевал, почесывался, потом спросил у Галины:

— Он всегда такой нахрапистый, муженек твой?

— Не муж он мне...

— Похоже. Уж больно на разные колодки вы кроены.

— Это почему же?

— Видать, давно в зеркало смотрела.

— Сам бы в зеркало глянул, чучело, — покосился на бородатого Галин сосед.

— Ну ты, потише.

— Опять лаптем угрожаешь?

— Чего там угрожать. Спать хочется. Грехи наши тяжкие. Ни пожрать, ни поспать и билета не достать. Жизнь, туды ее вон куды.

Осторожно лавируя между сундуками и мешками, по залу ожидания шла женщина. Гибкая фигура затянута в хорошо сшитое синее платье. Лицо красивое, под глазами, покрасневшими от слез, набрякли мешки. Женщина остановилась прямо против Галины, смотрела не на нее.

— Федя!

Сосед вздрогнул, но глаз не открыл.

— Ты слышишь, Федя? Не притворяйся. Я вижу, что не спишь.

— Не сплю, — согласился Федор, по-прежнему не открывая глаз.

— Отойдем в сторонку. Мне нужно с тобой поговорить. Очень нужно.

— Не о чем нам говорить. Все ясно.

— Ничего не ясно, слышишь.

Пойдем, очень тебя прошу.

— Ни к чему.

Женщина беспомощно огляделась вокруг, придвинулась к Федору почти вплотную.

— Хочешь, я уйду от него?

— Дело хозяйское.

— Мы снова будем вместе.

— А вот этого не будет. Женщина заплакала.

— Я очень перед тобой виновата. Но так трудно было. Ты даже этого не

представляешь. Люди мерли на ходу, в подъездах, в своих комнатах. Мне очень хотелось жить... Я виновата. Страшно виновата. Хочешь, я на весь вокзал крикну об этом? Хочешь, на колени стану?

— Дело хозяйское.

— Феденька! Нельзя же так, родной...

— Ты родню в другом месте ищи. Тут родных тебе нет. И кончим этот разговор.

— Федя!

— Не Федя я тебе. Федор Васильевич Костров. Чужой для тебя человек. Топайте, Зоя Федоровна, к своему завскладу. Когда его посадят за воровство, напишите, я телеграмму с соболезнованием пришлю. Иди ты к черту! Смотреть на тебя тошно. — Федор на мгновение широко раскрыл глаза и снова закрыл. Он не смотрел ей вслед. Голова была по-прежнему откинута на спинку дивана, под смуглой кожей бегал желвак, чуть заметно вздрагивал до синевы выбритый подбородок.

— Красивая баба. Краля. Жалко, что ссучилась,— рассудительно забубнил бородач, но под свирепым взглядом Федора примолк,

— Слушай, соседка, ты ехать собираешься?

— Собираюсь.

— Куда?

— В село, на Ставропольщину. Дочка у меня там, мать,

— Не понравилось на родине?

— Нравится, но не пускают.

— Как это?

— Обыкновенно. Не прописывают. Говорят, на оккупированной территории была.

— Ишь ты! Порядочки... Возьми меня с собой, а?

— Как это «возьми»?

— Очень просто, скажи мне твердым командирским голосом: «Поехали со мной». Я кивну вот этой горемычной головой и пойду доставать билеты.

— И достанешь шиш с маслом, — вставил бородач.

— А тебе на этом митинге никто

слова не давал. Ну, соседка, я жду.

Галина смущенно улыбнулась и сказала:

— Поехали со мной.

— Вот это разговор. Видишь, какая у меня тут жеребятина получилась. Не зря у тебя валерьянки просил. Все мои планы до горы пятками повернулись. Там, в селе, трактористы нужны?

— Еще как.

— Значит, дело найдется. С моторами я на «ты» давно разговариваю. А тебя как зовут?

— Галина.

— Га-ли-на.— Федор внимательно посмотрел на нее.— Красивое имя.

— А уроду досталось?

— Не красавица, конечно, но и не урод. До какой станции билеты брать?

Галина ответила.

— Сиди, сторожи шинелишку мою и мешок.

— Быстрый больно. Неделью сижу. А Воронеж мой все черт-те где. Занесла меня сюда нелегкая. Говорили, одежи здесь по дешевке сколько душеньке угодно. Еды всякой тоже невпроворот. Купил, конечно, кое-что. Только зачем же брехать, — развел руками бородач.

Галина молчала.

Через полчаса Федор вернулся. Распаренный, словно из бани только что. Пилотка на затылке, а на гимнастерке в два ряда через всю грудь сверкают ордена, и медали, в руках два билета.

ЕЩЕ ОДИН ПОВОРОТ, КОТОРОГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Ковальчук встретил Галину сухо:

— Подводу дать?

— Сама дойду. Ноги не отвалятся.

— Я не про тебя, а про барахло твое. На станцию свой хабур-чебур повезешь?

— Не повезу.

— Не поедешь?

— Не поеду.

— Завтра на работу выходи. На ток, на очистку семян.

— А ты кто? — спросил председатель у Федора.

— Вы всем тычете?

— Когда увижу, что ты настоящий человек, тогда выкать буду.

— Я тракторист. В корпусной артиллерии командиром отделения тяги служил. Нужны в вашем колхозе такие?

— Паспорт? Военный билет?

— Не успел обзавестись. Только демобилизовался. Вот документы.

Ковальчук принялся перечитывать стопку бумажек.

— Ух ты! Когда же вы успели нахватать столько?

— Можно не выкать, — усмехнулся Федор.

— А ну-ка нацепи их все.

— Чего это ради?

— Ну нацепи, уважь старого вояку.

Пожав плечами, Федор полез в вещмешок, достал бархатный кисет, развязал его и

высыпал на стол ордена и медали. Долго распределял их над карманами выгоревшей гимнастерки. Ордена на правую сторону, медали — на левую.

— В ямке нашел?

— Ты, председатель, болтай, да не забалтывайся, — обиделся Федор.

— А чего стесняешься носить. У меня вот два всего, и ношу.

— Не стесняюсь, а потерять боюсь. Буду по праздникам надевать. Хватить их должно мне на всю жизнь. А жить я собираюсь не меньше ста лет.

— Живи, не жалко. Только работы для тебя в колхозе нет. Не имеем мы этой самой тяги, кроме, конечно, конной. А конюхом ты не пойдешь. Правильно, и не ходи. Бригадиром хочешь? Бригадиром полеводческой бригады, а?

— А если я в полеводстве не смыслю?

— Не смыслишь, — значит, и лезть нечего. Шагай в энтээс, там тебя с ногами и с руками оторвут. По всем вопросам житейского характера обращайся туда. Колхоз — не собес.

— Я, кажется, ничего и не прошу.

— И не проси. А за что же у тебя ордена? У меня вот один за гражданскую войну, а второй за мирное строительство. Про Кочубея слышал?

— Чай с ним не пил, но слышать о

нем слышал.

— А я пил. И чай, и молоко из-под бешеной коровки. Командиром эскадрона был у Кочубея. Беляков били, знаешь, как? На капусту секли. Шашку наголо, коня в галоп — и понеслась! Ж-жик! Ж-жик! — Мирон Матвеевич поднялся из-за стола и, пружиня ногами, стал размахивать воображаемой шашкой.

— Ладно, председатель, мы пошли.

— Будь здоров! Значит, по всем вопросам — в энтээс.

Акулина Поликарповна с дочерью поздоровалась наскоро. Все на Федора поглядывала, толкала локтем Галину, мол, кто это? Но Галина молчала. Стояли во дворе. Федор остался у калитки, смотрел вокруг, прикидывая: в стоящее ли место попал?

— Федя, заходи в наш «дворец».

11

— Хата как хата. По военному времени вполне нормальное жилье, — говорил Федор, опасливо косясь на низкий потолок. — Энтээ-эс далеко отсюда?

— Около вокзала. Ты что, собираешься туда идти?

— Надо сходить.

— А кто тебя там ждать будет? Солнце садится. Переночуешь, отдохнешь немного, а утречком пойдешь.

— И так ладно, — согласился Федор.

Акулина Поликарповна, хлопоча об угощении, прислушивалась к разговору и, когда поняла, что этот статный мужчина в солдатской одежде всего-навсего только дочкин знакомый, горестно вздохнула. От такого зятя она бы не отказалась.

— Ты собаков умеешь делать? — спросила Маринка у гостя.

— Нет, не умею.

— А наш дядя Федя умел. Вот какого Полкана мне сделал, когда еще не уходил на войну.

Федор с интересом разглядывал мастерски сделанную статуэтку. Сильна лохматая кавказская овчарка бежала. Она вся устремлена вперед, но не с легкой грацией, чувствовалась мощь, тяжеловесная и в то же время

стремительная.

— Силен тезка. Здорово сработано. По-настоящему. Где он сейчас, этот дядя Федя?

— Погубили ироды золотого человека, — вздохнула Акулина Поликарповна, — Когда нас из Ленинграда эвакуировали, он со своей женой Ганной приютили нас, как родных приняли. А в прошлом году Ганна похоронную получила. И Федора, значит, война прибрала — убили...

— И не убили! Не убили! Не убили! — закричала Маринка, слезы градом брызнули из глазенок.

Федору стало не по себе от этого огромного детского горя. Он вышел во двор и долго стоял, глядя, как сумерки опускаются на степь, как одна за другой робко проглядывают звезды.

Пожалуй, ничто так не раздражало Галину в колхозе, как отсутствие дисциплины.

С утра мечется по улице бригадир и, отмахиваясь от собак, стучит в каждую дверь: «Матрена Архиповна, на работу!» «Петька, запрягай коней и поняй до коровника за молоком!», «Мария, на работу!»

У Матрены Архиповны тесто подошло, и не бросишь его перекидать. Петька мучается похмельной головной болью, лежит в кровати, пьет огуречный рассол, и за молоком, ему ехать совсем не хочется. Мария собирается на свадьбу к дальней родственнице.

Галина ходила в поле и на хоздвор как на заводе в цех.

— Жадная ты, Галька, до работы, — говорили женщины. — А чего пупрвать? Все равно на трудовень вот чего приходится, — совали к носу Галины кукиши.

Работа и вправду нелегкая. За день руки, ноги так наломаешь, что упала бы тут же, в поле, и пальцем не пошевелила до самого утра. Но надо идти домой. Там дела тоже край непочатый. И она шла, возилась до глубокой ночи в доме или на огороде, а потом валилась на постель, как подрубленное дерево, и мгновенно

засыпала.

— Мужика в дом надо, — говорила мать, — хоть какого-нибудь плохонького, лишь бы не пьяницу...

— Нужен он тут «плохонький», — злилась Галина и думала о Федоре.

Во «дворец» он забегал не часто. С трактора почти не слезал, жил у одинокой старушки на квартире, но и там был редким гостем. Работал горячо, весело. Не одна девушка уже заглядывалась на него, а он словно и не замечал их.

— Жинка у него, говорят, красавицей была. От голоду померла, — чесали старухи языки у артезиана. — Не может человек ее забыть. Ему сейчас хучь принцессу на блюдечке поднеси, так он плюнет и отвернется...

А Федор однажды под вечер зашел к Галине домой. Несколько раз подбросил хохочущую Маринку и сказал:

— Проводи меня немножко, Галя.

Повел не в село, а в степь, на курган. Усадил на сухую с редкой выгоревшей травкой землю. Сам сел напротив.

— Выходи за меня замуж.

— Ты шуточки брось такие шутить. Я их за жизнь свою наслушалась. Сыта по горло.

— Ну чего ты на стенку лезешь? Я без шуток. Официально предлагаю руку и сердце.

Сказал с усмешкой, а в глаза его заглянула, и сердце екнуло: «не шутит».

Темные волосы у него, блестящие, волной бегут по ладной голове. Мягкие, наверное. Захотелось забраться в них пальцами, притянуть поближе и крепко-крепко поцеловать в обветренные губы. Потянулась к нему рукой. Он отшатнулся. Чуть-чуть на одно мгновение отшатнулся, потом начал клониться к ней, но Галина убрала руку и сказала ломким голосом:

— К ветерку лицом сядь, Федя. Поостынь. Вот здесь, рядом со мной, сядь.

Он послушно передвинулся, опустил голову.

— Ты что же, полюбил меня?

Федор молчал.

— Вот видишь. Знаю, парень ты честный. Молчишь. Врать не хочется, а

правду сказать — пороху не хватает — боишься обидеть.

И правильно, не обижай. Все я понимаю. Той хочешь сказать: вот на ком женился, даже такая уродина, мол лучше тебя. А я тоже не забор и не стог сена. И жить мне хочется не пугалом для кого-то, а по-настоящему. Пойдем-ка, жених, домой, Я тебя чаем клубничным напою. Хрипишь ты. Простыл на своем тракторе.

— Пойдем, — согласился Федор.

До самого дома шли молча. У

калитки Федор остановился.

— Я, пожалуй, не буду у тебя чай гонять.

— Напрасно. Хорошее варенье наша бабушка сварила. Зайди, Федя.

— Галинка, тащи сюда кавалера! Из дома кричала Ганна.

— Вот видишь, приглашают. Это жена того Федора, о котором мать тебе рассказывала. Пойдем! — потянула Федора за рукав.

Чай пили долго.

Ганна разругалась и смешно морщила маленький нос, когда дула в щербатое блюдце. Полные красивые губы чуть выпячивались, словно для поцелуя. Федор был хмур, но к Ганне стал приглядываться.

— Спасибо за хлеб-соль, — Ганна поставила чашку вверх дном на блюдце. — Пора додому, до хаты. Может, проводишь, тракторист?

— Провожу.

Они ушли. Галина смотрела им вслед тоскливыми глазами.

Смотрела, пока их

силуэты не скрылись в неглубоком черном ущелье неосвещенной улицы. У ног терлась Маринка, мурлыча, как котенок.

— Дочушка, утешенье мое! — подхватила Маринку, прижала к себе сильными руками. — Может быть, ты счастливее будешь...

Деду Ржевскому под восемьдесят. Старик он худой, удивительно костлявый, весь расшатанный, будто на скорую руку сколоченный, но еще бойкий на язык и на ногу. Особенно на язык. Бороденка у деда

жиденькая, сивая и все время в движении. От разговоров колыхается.

Дед только что оглянулся на прожитые годы и огорчился, и с горя выпил. Потянуло его к людям, к сельповскому магазину, где всегда народ. Шел, ежился от мартовского холодка. Старая солдатская шинель плохо грела.

Завидев старого Ржевского, люди заулыбались. Уж очень нескладен был дед. Улыбнулась и Галина.

— Смеешься? — сказал дед. — Зубы скалишь? А у меня два кутних только осталось. Теперь я и мягкую колбаску за один раз не перекусю. Пить могу. Водичку, воду, водку, вино виноградное — все на вз. Вулкаголик. А почему? А потому, что дурак. И вы все дураки. Были бы умными, так при шляпах и галстуках ходили, в теплых машинах ездили.

— Тю! Зачем мне твоя шляпа и галстук? — возмутилась старушка в очереди.

— Не про тебя, Домна, речь. На тебя теперь хучь пачку пудры высыпь или там маникюр накрась — все равно ты на мой курник будешь похожа. Я его еще при царском величестве Николае строил. И никакой ремонт его теперь не берет. Сгнил. Я тоже догниваю. А что сделал? Попервах помещика Войцеховского коров пас. Потом повышение дали: к свиньям приставили. Свинья—скотина толстая, но рысистая. Я как в те поры привык бегать, так и по нынешний день все на рысях передвигаюсь. Потом Войцеховскому дали коленкой. Ура, ура! Красный флаг повесили и турнули меня в ликбез. Мне бы, ишаку, учиться, а я, как по-печатному научился расписываться, так и решил, что дюже грамотный. Всю жизнь проковырялся в земле, как жук навозный. Без ума ковырялся. Я плуг за чепиги таскал, а кто-то трактора выдумывал; я косой махал, а кто-то комбайн ладил. Не учился. Грамоте не учился. Стаканы переворачиваю. Это я выучил. Вулкаголик.

Дед на минуту замолк, острыми глазами перещупал небогато одетую очередь. Женщины кутались в ватные куртки и старенькие пальто. Над женскими платками возвышалась большая голова

конюха Ивана Грицай. Ржевский показал Галине на него.

— Инвалид глядит по книжке, морда шире колеса. Песня такая была. Это про него. Жрет, спит и говорит: «Живу!» Тьфу на такую жизнь! На свою жизнь плюю и на его тоже. Лодыряка! Один человек настоящий в селе заявился — Федор. Воевать так воевать — полна грудь орденов. Работать так работать — уже бригадир эмтээса. Вчера на свадьбе у него гулял. Пляшет, черт!

— Как на свадьбе?

— Такие коленца откидывает — смотреть любо-дорого.

— Какая свадьба, дед?

— Да с Ганной они поженились. Она баба ничего. Эх и пляшет Федор! Как работает, так и пляшет. Во всем ровный мужик!

Галина стояла в очереди за селедкой. А тут стало не до селедки. И она пошла. В противоположную сторону от дома пошла, куда глаза глядели. Шла, в такт шагам повторяя про себя: «Во всем ровный мужик, во всем ровный мужик...»

Холодный ветер дул в лицо.

ПОВОРОТ ВТОРОЙ

Работала в поле, на токах, в колхозных амбарах, возилась у плиты и уже смирилась, что по-другому и не будет. Но вдруг новый поворот, и Галина сидит в просторной, светлой комнате за партой.

У черной школьной доски с ноги на ногу переминается здоровенный парень. Идет вступительный экзамен. Собственно, какой это экзамен, если не спрашивают правил грамматики, не трогают арифметику, а просто выясняют, насколько разбираются в сельскохозяйственной технике будущие курсанты.

Директор училища механизации сидит за столом и строго смотрит на парня. Директор маленький, щуплый, силы у него, пожалуй, не намного больше, чем у подростка, а лоб у парня покрывается испариной под строгим взглядом.

— Ну, Грицай, я спрашиваю: есть ли у комбайна коленчатый вал и где он находится?

Потный лоб собирается в крупные морщины, И жесткая щетина волос опускается почти на брови, взгляд напряженно шарит по потолку, толстые губы что-то шепчут.

Директор ждет еще несколько минут, потом машет рукой:

— Садись. Не знаешь, так зачем время зря тянуть... Васильева, к доске!

Побледневшая Галина становится на место Грицай.

— Какая ширина захвата у жатки комбайна «Коммунар»?

Страшно сказать «не знаю», и она мучительно пытается воссоздать в памяти комбайн и хотя бы прикинуть ширину жатки. За партой у окна пожилой мужчина поднимает четыре пальца.

— Четыре метра, — быстро говорит Галина.

— Правильно, Васильева, — удовлетворенно говорит директор.

...У доски побывали все, и все были зачислены на курсы комбайнеров. Двадцать шесть взрослых людей сели за парты, стали овладевать премудростями техники.

Двадцать четыре мужчин в группе и две женщины. Марию Сидорчук Галина знала давно, еще с военных лет. Не один рядок подсолнечника и кукурузы пропололи они то под палящим солнцем, то под дождем. Мария маленькая, тонкая. Глаза у нее большие, а в глазах ни задоринки, ни лукавства, одна спокойная мечтательная тишь, и походка у нее неслышная, плавная. Муж Марии, известный в районе тракторист Степан Сидорчук, год назад врезался на мотоцикле в грузовик и погиб.

Узнав, что на курсы комбайнеров принимают и женщин, Мария бросилась в правление колхоза.

— Хочу стать механизатором.

Ковальчук засмеялся:

— А мотор кто за тебя заводит будет? Ведь не провернешь рукоятку.

— Поверну, — тихо сказала Мария. — Очень прошу, пошлите на курсы.

— Я не против, но ведь решать будет правление. Обещаю тебе, что буду отстаивать твою кандидатуру...

Ковальчук сдержал слова.

Неожиданно для всех, и особенно для директора училища, Мария оказалась, в сравнении с другими курсантами, большим знатоком сельскохозяйственной техники.

— Что ж, придется оставить на курсах,— сказал директор.— А я было решил вас откомандировать назад, в колхоз. Уж очень вы хрупки на вид.

Ранней весной в маленьком скверике встретила Федора Кострова.

В черном ватнике, солдатских шароварах и в кирзовых заляпанных грязью сапогах, он выскочил из магазина, быстро зашагал по аллейке. Федор прошел бы мимо, но она его окликнула.

— А-а, механизатор! Привет, товарищу по оружию!— ровные белые зубы резко выделялись на дочерна загорелом лице.

— Чего это тебя по магазинам носит в такое горячее время? — спросила Галина.— В поле делать нечего?

— Дел—во! — Федор провел ребром ладони по горлу. — Много дела, а работать не на чем. Стали наши кони. Ремней вентиляторных нигде разыскать не можем. Вот и приехал, может быть, где и достану по средне-базарной цене.

— С каких же это пор в промтоварном: магазине стали ремни продавать?

Федор чуть покраснел, опустил глаза.

— Я попутно заскочил. Ганна приказала байки на пеленки закупить...

Больно было смотреть на его красивое, счастливое лицо, но нашла силы протянуть руку.

— Поздравляю, Федя.

— Пока не с чем. Будь здорова, Галя. Приобретай диплом, сделаю из тебя настоящего комбайнера.

Она медленно шла по аллее скверика.

— Галина!

На тротуаре, у дверей продовольственного магазина, стоял Иван Грицай, тот самый парень, что на экзаменах не мог сказать, есть ли у комбайна коленчатый вал. Даже издали

было видно, что Иван навеселе. Под мышкой из газеты выглядывала головка водочной бутылки.

— Постой, Галина!

Иван старательно обходил пятна жидкой грязи на асфальте, тяжело бухнув сапогами, перепрыгнул через вязкий чернозем газона и остановился около нее.

— Гуляешь?

— Прогуливаюсь.

— И я... прогуливаюсь,— глаза Ивана налиты хмельной мутью.— Заложил за воротник чуток и вот хожу. Ходю, бродю, теплое место шукаю. А чего стоим? Пошли.

— Куда?

— Мне все равно. Пускай ноги сами идут. Пускай сами, куда хотят, ведут, родимые.— Иван добродушно улыбнулся. Лицо у Грицай широкое, расплывчатое. Невольно сравнила с Федором, вздохнула и равнодушно сказала:

— Пускай ведут...

«Родимые» привели в старый парк, в самый глухой его угол, к обрыву над Кумой. Сели на принесенную сюда кем-то грубо сколоченную дверь. Сзади и с боков густо переплелись голые веточки кустарника, а внизу, нехотя, закручиваясь в мелкие водоворотики, катилась серая, похожая на грязь, вода.

Иван положил сверток на дверь, сел, обхватил руками колени и уставился на воду.

На уголке двери устроилась Галина.

За речкой орали петухи, лениво побрехивала собака.

— Поганый вы, бабы, народ, — после долгого молчания изрек Иван.

Галина не ответила.

— Была у меня дивчина. Целовала, «милый» говорила, а на курсы уехал, она замуж за Семена Недайвоза выскочила. Вот ты мне скажи: обидно это или не обидно? Подлый вы, бабы, народ...

Галина думала о Федоре. Встреча с ним разбередила старую рану. Своя боль не успокоилась, и горе Ивана не трогало. Иван был молод и не урод, он еще найдет себе подругу, а она...

— Стерва ты, Зинка! — выкрикнул Иван и затих под удивленным взглядом

Галины.

— Давай, Галка, выпьем, что ли? — предложил Иван и зашуршал газетной бумагой.

По доскам застучали обломки сургуча, запахло колбасой, селедкой.

— Стакана нет, — вздохнул Грицай. — Ну, черт с ним, со стаканом! Будем через горлышко. На, приложись. Не водка, зубровка. Вполне через горлышко можно.

Галина взяла бутылку. Жидкость обожгла горло, но она упрямо пила...

— Хватит, хватит. — Грицай отобрал бутылку, поднял ее вверх, взгляделся. — Я думал больше выпила, а ты чуть. Заедай.

Иван глотал раскатисто, как лошадь. Выпив, передернулся и зачавкал, перемальвая крепкими зубами жесткую колбасу.

У Галины запекло в желудке, и она поспешно набросилась на еду. Зашумело в голове, тепло начало разливаться по телу.

Над селом, над старым парком, над речкой сгустилась темнота, густая, плотная. Только звезды блестели дырочками в черном сукне неба.

Мысли путались, хотелось петь и плакать. Чувствуя этот разнобой, Галина молчала, а Грицай с пьяной гнусавостью жаловался на Зинку, клял ее последними словами. Иногда под мозолистыми ладонями шуршала щетина его небритого лица. Но слезы парня Галину не трогали. Она сидела, подтянув колени к подбородку, и никак не могла решить, что же делать: плакать или петь.

— Эх, Галка, мировой ты человек! — Иван одним движением смел с двери снесь, придвинулся и обнял ее за плечи. — Нету нам с тобой в жизни счастья. У тебя мужика нет, а меня вот Зинка с чайником оставила. Ух, зубами бы разодрал, проклятую!

Галина чувствовала, как тяжелая и равнодушная рука Ивана вдруг стала жадной, жесткой. Большие слюнявые губы заелозили по щеке, по твердо сжатым губам. Руки все больше нагтели, но ей было все равно....

Холодная темная ночь лежала над

землей. Невидимые тучи одну за другой гасили звезды. Заморосил мелкий нудный дождь. Он привел Галину в чувство. Она приподнялась. Рядом громко храпел Грицай. Морщась, она тычком столкнула его с двери. Иван на минуту замолк и снова захрапел. С трудом стала на ноги, затошнило. Боль раздирала голову.

Не разбирая дороги, стучаясь о деревья, продиралась сквозь кустарник. Набрела на летний павильон, нащупала врытую в землю скамью, села. Сдерживая рыдания, стонала. Печальные звуки плутали в темноте, цеплялись за ветки, за жухлую прошлогоднюю траву и гасли в промозглой сырости.

Три гусеничных трактора вытащили из-под навеса широкие, неуклюжие коробки комбайнов и поставили их рядом на краю поля.

Фигурка директора юрко, по-муравьиному оббежала машины и застыла перед искривленным строем курсантов.

— Сегодня вы, товарищи, приступаете к практическим занятиям. Прошу учесть, что на занятиях следует себя чувствовать так же, как и на работе, — с полной ответственностью за состояние машин. В общем, ни пуха вам, ни пера!

— На первый номер комбайнером идет Галина Васильева, на второй — Мария Сидорчук, на третий — Корней Кирпань. Заводи моторы! — скомандовал преподаватель.

У Галины перехватило дыхание. Она не ожидала, что ей первой из всех курсантов придется управлять комбайном.

Справа редким рядком тянулись колышки с прибитыми к ним фанерками. Вот уже можно разобрать корявую надпись: «Камень».

«Надо поднять хедер», — решила Галина и крутнула штурвал. Громоздкий совок жатки послушно поднялся, перепрыгивая через воображаемый камень. А Галина уже взглядывалась в следующую табличку. Прочитала: «Густая масса». Вспомнила: «Надо уменьшить ход и прибавить оборотов комбайновому мотору».

Все шло нормально, пока впереди, прямо против хедера, не появился камень. Не табличка с надписью «камень», а самая обыкновенная, вывалившаяся в грязи глыба ракушечника величиной с коровью голову. Камень нахально лез к режущему аппарату. Галина смотрела на него, как на чудовище, и все инструкции разом вылетели из головы. Она дернула за сигнальную проволоку. Тракторист обернулся, кивнул и прибавил газ. И тут началось: брызнула белая пыль, полетел в сторону обломок косы. Галина крутила штурвал. Конец хедера уткнулся в бугорок. Стреляли заклепки. словно бумажные, рвались железные листы.

Наступившая затем тишина была особенно страшной. Изломанную машину плотным кольцом окружили люди. Никто не смотрел на Галину, никто не подошел к ней. Она спустилась по лесенке и, постарушечьи шаркая подошвами, пошла в степь. Шла долго, потом села на крутом обрыве овражка. Мысли метались, скакали, казалось, этой сумятице не будет конца.

Часа через полтора рядом с нею сел директор. Комочки сырой глины насыпались в отвороты штанин, он аккуратно, не спеша, выбрал их.

— Дальше уйти не могла?

Директор снизу вверх смотрел в заплаканное лицо Галины.

— Ну и наломала ты дров. Умудриться надо так искорежить машину.

— Выгоните, да?

— Нет. Не выгоним.

— Как же так?

— Ремонтировать будешь. В свободное от занятий время.

— Как же так?

— Вот так.

Галина ткнулась в директорское плечо и зарыдала.

С минуту директор растерянно косился на нее, вцепившись в край обрыва, потом строго приказал:

— Сядь как следует и не разводи сырость, комбайнер.

НА КАПИТАНСКОМ МОСТИКЕ

Хлеба шелестят по-разному. Идешь по узкой полевой дороге, и слышно: пшено пересыпается, тоненькой струйкой мелких зернышек падает на мягкую подстилку. Присмотрись и увидишь, как ветер сталкивает зеленые ершистые колосья и они шумят тихо, умиротворенно.

Пройди здесь же через неделю-полторы и услышишь звон, тонкий, красивый, но у тебя защежит сердце от неосознанной тревоги. Посмотри внимательнее на тускло-золотое, мелкой волной тронутое море. Вот стукнул ветер колосок о колосок, зазубренными шпагами скрестились жесткие костя, на сухую, растрескавшуюся от зноя землю упало несколько зерен, и хочется бежать к людям, кого-то за душу трясти, торопить.

Просторный двор МТС еще недавно казался тесным, а сейчас только три комбайна угловатыми коробками торчали здесь.

Галина не слышала звона колосьев, но по обилию начальства, появившегося у ее комбайна, по тому, как метался от машины к машине Федор, чувствовала: время пришло горячее. И обидно было сидеть около комбайна, в десятый раз смазывать подшипники, цепи, подтягивать и без того подтянутые гайки. Машина стояла из-за малости: не хватало аккумулятора.

Подошел Федор, вытер пот со лба, — не вытер, а смахнул ребром ладони крупные капли.

— Вот какая жеребятина получается, комбайнер. Аккумулятор — поперек твоего движения. Еще два комбайна в поле стали. Нет ремней вентиляторных. Со спины бы дал их вырезать, да черта в этом толку. Чем тут торчать, иди-ка ты штурвальной к Максиму Рыжову.

— Эх ты, механик!

Федора совсем недавно перевели из бригадиров в механики. Старый механик работу завалил, а Федору очень часто приходилось слышать вот это самое: «Эх ты, механик!» Федор обиделся.

— Какой есть, — камешками вздулись желваки. — Рыжов работает в третьей бригаде. Поедешь туда на

ремонтной летучке. Сейчас поедешь. Со мной.

— А если не поеду?

Федор повернулся и пошел к мастерским. Шагал легко, свободно. Старая гимнастерка туго затянута широким ремнем. Так ни разу не обернулся, не глянул, как она торопливо отвязывает авоську с едой от железной комбайновой лесенки, как почти бежит за ним, боясь, что уедет без нее.

Максим Рыжов, невысокий, насквозь пропыленный, встретил механика таким замысловатым каскадом матерщины, что даже выдавший виды Федор затряс головой.

— Чего, как козел, головой трясешь? Думать ею надо, а не вытряхивать последнее. Иди сюда, начальник! — Рыжов подошел к краю нескошенной пшеницы, повел рукой по колосьям. Посыпалось зерно. — Видишь, мать... Каждая минута дорога, а я двое суток без штурвального уродуюсь. На ходу сплю! И хоть бы одному под лопатку ударило, если мозгов нет, что около мастерской люди от нечего делать мух давят!

— Ладно! — буркнул Федор. — Вот тебе штурвальный.

— Смеешься, Федька? Какой с бабы штурвальный! — И тут же к Галине: — Ты, кроме сковородки, какое-нибудь железо видела?

— Приходилось. А вот таких заполошных не встречала.

— Дипломированного комбайнера тебе даю.

— Что-то я этого «дипломированного» только около кастрюль видел. Ну, ладно, шагай на комбайн! Алешка, поняй!

Рыжов двумя рывками взлетел на комбайновый мостик, включил жатку, чуть-чуть повернул штурвал, опуская хедер.

— Становись, командуи. Посмотри, на что годишься.

Два круга прошел комбайн, дважды под хобот подкатывал грузовик, забирал вымолоченное зерно.

Рыжов стоял молча. На третьем

круге спрыгнул, ткнулся головой в теньевую сторону соломенной копны и застыл, сбитый с ног усталостью.

Вечером, когда пыльный воздух стали резать яркие световые конусы фар, Рыжов снова появился на мостике.

— Уморилась?

— Нет пока.

— Тогда я поем и опять горбатого придавлю.

Достал из инструментального ящика котомку с едой и исчез.

Было непривычно и чуть жутко оттого, что вокруг была темень; только равнодушные звезды подслеповато мигали из черноты, не тронутой светом электрических лампочек.

Мир стал неправдоподобно большим, пугающим. Ровно и сильно гудел тракторный мотор, нотой выше вторил ему комбайновый. Справа колесом катилось мотовило, подминая под себя сухие пшеничные стебли, полотно, тянуло их в железную утробу под тяжелый битер, на громоздкие решета. Полова с соломой летели в копнитель.

«Копнитель... Там же человек работает. Как же о нем забыла...» Галина оглянулась: в пыльном вихре извивалась маленькая фигурка. Длинный деревянный держак вил мелькал, как копье. Галина торопливо дернула за ручку свистка. Агрегат остановился, из кабины трактора высунулся тракторист:

— Чего там?

— Ничего. Перекур.

— Кури...

Галина заторопилась к копнителю, где на помосте стоял человек.

— Слезай.

— Зачем это? — откликнулся тонкий голос.

— Слезай. Посмотреть на тебя хочу.

— Цирк, что ли? — недовольно откликнулась фигурка, но покорно стала спускаться. С последней перекадины лестницы прыгнула, пошатнулась и упала бы, но Галина подхватила, понесла на освещенный фарами участок жнивья.

— Неси воды скорее! — крикнула трактористу.

Тракторист увидел неладное, резво выскочил из кабины с бочонком-анкерком в руках.

Галина расстегнула пуговицы комбинезона копнильщика, расстегнула ворот. Маленькая, еще не оформившаяся грудь выглянула из-под пыльной ткани и стыдливо спряталась. Галина плеснула воды на белую кожу, смочила виски.

— Чего пялишься? Иди, своим делом занимайся.

Девушка вздохнула, приподнялась на локоть.

— Вспомнили, наконец, что живой человек солону гребет. А то и дела никакого нет... Гонят и гонят... Я не железная, — девушка заплакала.

— Хоть бы крикнула, что ли, — виновато сказала Галина. — Ведь так и убиться могла ж на всю жизнь покалечиться. Сколько ж ты работаешь?

— С обеда. Гришка Скамейкин из нашего класса должен был в пять сменить, а его все нет и нет. Под копной где-нибудь спит, мурзик конопатый!

— Тебя как зовут?

— Света. Светка Щеглова, Я через два дома от вас живу и в одной школе с вашей Маринкой учусь.

— Вон как... А я тебя и не узнала. Ты прости меня. Первый раз на комбайне работаю, растерялась.

— Ладно, что уж теперь. Только работать я больше не могу.

— А мы больше и не будем. Роса упала, — сказал из темноты тракторист.

— Водички попить, можно? — спросила Света.

— Пей, — Галина придвинула к ней бочонок, наклонила.

— Спасибо. А есть хочется, и совсем нечего. Думала, в пять домой пойду.

— Найдем чего поесть...

Кривой часовой стрелкой поворачивался ковш Большой Медведицы, а сон все не шел. Она жадно вслушивалась в тишину, такую приятную после многочасового грохота моторов. Поблизости захрапел тракторист. Она передернулась, вспомнив храп Грицыя.

Разбудил крик: — Эй, конбанеры!

Отозвался тракторист:

— Чего орешь, дед? Почему спать трудящимся не даешь?

— А я не трудящий? До света поднялся.

— Лучше бы спал, чем ни свет ни заря будоражить.

— Не могу. Мобилизованный.

— Кем мобилизованный?

— Старухой!

Тракторист захохотал, закашлялся.

— Ох-хо-хо! Военком, в юбке, а не баба. Взяла и мобилизовала.

— А что? Некакого, говорит, черта домоседничать, иди на новую крышу деньги зарабатывай.

Галина заторопилась. Кое-как стряхнула половику с комбинезона. Отыскала ведро. Заправила мотор, наполнила бочонок питьевой водой. Зайдя за комбайн, с наслаждением отмывала въевшуюся пыль.

Рядом стояла телега с большой бочкой. На бочке сидел дед Ржевский. Худой, костлявый, на обширной бочке он казался еще более тонким, совсем невесомым.

Завидев Галину, дед удивленно округлил глаза и закричал:

— Привет конбанерам женского полу!

Рыжов пришел, когда солнце уже выбралось из-за горизонта. Громко спросил у тракториста:

— Будет с бабы толк?

— Получится.

— А ты почему здесь? — повернулся он к Светке.

— Гришка не пришел.

— Сама ворочала?

— Сама.

— Шкуру спущу с этого лодыря. Алешка, заводи! Ты тоже включай. Пока проверим, подсушит и — айда!

Быстрой дробью застучал тракторный пускач, загудел комбайновый мотор. Подкатил запыленный грузовик, из кабины выскочил конопатый парень, подошел к Рыжову и сразу получил затрещину. Никаких нравоучений не было. Рыжов ткнул конопатому в руки вилы, указал пальцем на копнитель и поднялся

на мостик комбайна. Послушные воле комбайнера, завертелись шестерни, перебирая бесконечные звенья цепей.

— Подтяни подшипник на оси мотовила, — сказал Рыжов Галине.

Болт шел туго. Рукоять ключа упиралась в стойку. Галина зашла с внутренней стороны, потянулась через планку к подшипнику, и тут тракторист дернул трактор. Галина отпрыгнула назад, зацепилась за полевую делитель, упала и почувствовала в левой ноге острую боль.

«Отрезало!» — мелькнула мысль. Она закричала.

Лежала дома. С кровати потолок казался не таким уж низким. Собственно, потолка не было. Была крыша, добротная крыша в полметра толщиной. На деревянные балки толстым слоем положен камыш, снизу его обмазали глиной и побелили, сверху насыпали земли, панцирем уложили черепицу. Теплая крыша, но вид — что снаружи, что изнутри — неказистый.

— Улица-то наша, видишь, куда пошла.

Дома, как грибы, растут. Да дома-то какие. А мы в этом году, похоже, заоведем. Много ли ты на одной ноге заработаешь...

— Слышала уже, — морщилась

Галина.

Акулина Поликарповна, управившись с домашними делами, принималась за разговоры.

— И чего под ножик было лезть. На тракториста надо в суд подать...

— Хватит, мама!

— Со зла я, что ли? Добра желаю. Гляди, куда ноги ставишь. А если бы совсем отрезало? Вот лежишь теперь, и не барыня, и не работница. Господи, грехи наши тяжкие... Болит нога-то? Конечно, где же тут не болеть, когда кость наполовину перегрызло. Ей, пилке той, все равно что резать, только подставляй. Поймать бы того тракториста...

Тракторист пришел сам. Постучался. Нерешительно просунул голову в дверь.

— Заходи, Алексей, — пригласила

Галина. Ну, проходи, проходи, чего застрял на пороге!

Осторожно ступая по глиняному полу, тракторист прошел к кровати, сел на табурет, на котором только что сидела Акулина Поликарповна. Загорелые руки скрутили кепку в жгут и продолжали закручивать, пока не затрещали нитки.

— Ты извини, что так получилось. Пробовал, как скорость включается. На педаль нажал, сцепление, значит, выжал, рычаг дернул, а тут пчела. Ну и сдернул ногу с педали. Так что ты прости. Не нарочно я.

— Ладно, чего там! — отмахнулась Галина.

— Расчет за работу получим, половину отдам тебе.

— Не надо. Этого еще не хватало.

— Как это не надо! — вскинулась Акулина Поликарповна. — На что жить думаешь?

— Я и не отказываюсь. Заплачу.

— Мне твои деньги не нужны, Алексей. Всяко бывает. Я вон на курсах комбайн поломала, не хотела сломать, а сломала.

— Починила-то сама? Сама! Не слушай ее. Помочь ты все равно должен.

— А я говорю, не надо, — значит, не надо! Слышишь? Иди, Алеша, домой. Этому спору конца не будет. Спасибо, что проведаль.

«ВОЙНЫ ДОВЕСОК»

— Вам придется съездить в город на консультацию к хирургу, — сказал врач, закончив осмотр ее ноги перед очередной перевязкой. Направление я сейчас выпишу, с председателем договорюсь. Вы только зайдите в правление, уточнить, когда будет машина. Вам все равно по пути.

Ковальчук согласился без разговоров.

— Утром к тебе Спицын заедет. Машину ждали во дворе. Смотрели туда, где еще совсем недавно была обыкновенная степь, а теперь вытянулась целая улица новых домов.

— И откуда у людей деньги? Хоромы-то какие строят. Наша хата рядом с ними прямо стыдная какая-то.

Галина прижимала к себе Маринку, а та крепкой пружинкой сопротивлялась, потом обмякла, на минутку прильнула к матери.

— Ты бы награду матери показала. Получила и молчит, скромничает, — сказала Акулина Поликарповна.

— Что за награда?

Маринка выскользнула из-под материнской руки, побежала в дом. Вернулась с книжкой.

Галина любовалась дочерью. Щеки девочки зарумянились от смущения. Голову опустила, из-под длинных темных ресниц нет-нет да и стрельнут в мать родниковые, чистые, чуть плутоватые глаза.

Книга толстая. На светло-серой обложке черный парусник режет черные волны.

— «Дети капитана Гранта», — прочитала Галина вслух. Отвернула обложку, на внутренней стороне ее старательно выведено:

«Васильевой Марине за отличные успехи в учебе и примерную дисциплину.

Директор школы...»

Директор расписался замысловатой каракулькой.

— Молодец, доченька, спасибо, порадовала мать.

Далеко натужно гудел автомобиль — на гору лез. Взобрался, отфыркнулся и загромыхал кузовом к селу. Вкатился в улицу, совсем рядом взвизгнули тормозные колодки.

— Галина! Экипаж подан!

Из оконца перекошенной кабины высунулось потное крупное лицо колхозного шофера Мишки Спицына.

— Заходи! Пока соберусь, перекусишь, — пригласила Галина.

— Вот это разговор! — обрадовался Мишка и заглушил мотор. Неожиданно лицо его стало серьезным, сосредоточенным. Рук не было видно, шевелились круглые плечи, он что-то вертел, подергивал.

— Ну, чего застрял? Вылезай!

— Ух! Сто пудов с плеч. Проклятый лимузин. Каждый раз как в тюрьму сажусь. Дверку захлопну и думаю: «Откроется, или в окно вылезать придется».

Мишка широко и добродушно улыбнулся, вытирая замасленные ладони об штанины. Акулина Поликарповна нахмурилась:

— Жена у тебя есть, непутевый? Небось без рук женщина осталась?

— Чего бы это?

— Думаешь, штаны твои замасленные легко отстирать?

— Бабуня, миленькая, больше не буду. Где угол?

— На колени станешь?

— Нет, руки помою.

— За дверью умывальник. Да не нахлопай, балабон.

Сели за стол, устроенный из досок, под вишней. Мишка громко чавкал и сопел, поедая хлеб с домашней колбасой. Когда съел два круга колбасы, жевать стал нехотя, больше болтал.

— Значит, комбайнер теперь? Вот заживете. В колхозе Карла Маркса в прошлом году один комбайнер за уборку, знаешь, сколько заработал? Двенадцать тысяч рублей! В МТС платили, слезами плакали. Жалко было бухгалтерам такую кучу денег отдавать. Ну, вкалывал, конечно, тот парень здорово. А ты что, хуже? Подзаработаешь — дом поставишь. Дворец. С башнями. Тогда я свою бабу побоку и на тебе женюсь. На башне телескоп поставлю, на звезды смотреть буду и пирожные лопать.

— На пирожные и без тебя охотников хватит.

— Можно тортики. Тоже еда ничего. Ну, поехали, что ли?

В пути, когда автомобиль выкатился на асфальт и пошел без толчков, Мишка снова заговорил о будущем доме.

— Строить начнешь, шепни. Глядишь, дощечек по сходной цене подкину, цементу мешок, другой. Сама понимаешь, наше дело шоферское. Жить чем-то надо. На одной зарплате не очень-

то разгонишься.

— Мне ворованного не надо.

— Все такие гордые. А побегаешь за каждой щепкой, за каждым гвоздем, тогда по-другому запоешь. Тогда я Михаилом Сергеевичем буду, тогда мне почет, тогда мне уважение. И никуда ты от меня не денешься. Без моего «драндулета» ни один дом еще не строился.

Болела нога. Спорить не хотелось. Чего спорить. Мишку бы поймать с поличным — да в милицию, в суд.

Долго ехали молча. Асфальт лежал на насыпи серой лентой, и лента мчалась и мчалась под невидимые из кабины колеса «драндулета».

Поднялись на горюшку, повернули чуть-чуть и увидели большой зеленый город.

— Лермонтова тут убили.

— Где?

— А вот, слева от дороги. Очень принципиальный был. Ему, к примеру, что-то поперек сказали, а он уже пистолет достает. И чего на рожон лезть? Не убьют бы с него, если бы смолчал. А тут — раз, и жизни нет. А мог бы жить...

Галина в полушага слушала Мишкины рассуждения, с интересом разглядывая улицу.

Город курортный, на улицах пестро от ярких женских платьев, зонтиков, вееров. И вдруг серый бугор на асфальте. И глаза сразу уцепились за него. У человека в сером пиджаке вместо ног платформа на четырех колесиках, а в руках деревянные рукоятки — толкачи. Катится по тротуару. Вот остановился. Дальше проезжая часть — машины идут. Затормозил и Мишка перед красным светофором.

Безногий смотрел по сторонам, и Галину словно электрическим током пробило.

— Открой дверку! — закричала она Мишке.

— Ты что, на перекрестке нельзя стоять.

— Открой, говорю! — двинула плечом, и железная дверка с хрустом распахнулась.

— Что делаешь? Зеленый уже!

Но Галина выставила на асфальт костыли и неуклюже выпрыгнула из кабины. Хотелось бежать. Хотелось с двух-трех шагов разглядеть, проверить, убедиться. Вот он, небритый, со свалывшимися в комья волосами, глянул на нее равнодушными глубоко запавшими глазами, и вдруг глаза открылись широко, заметались перепуганными мышатами. Безногий отвернулся, опустил голову. Но Галина уже не сомневалась, только здоровая нога подламывалась, шагать стало совсем трудно, и дыхание забило сердце, подтянувшееся к горлу.

Вот он рядом.

— Федя! Федька! Как же так, а? Десять лет в мертвых и вдруг живой! Стой! Не уйдешь от меня!

Уходить было некуда. Их окружила толпа зевак.

— Как же так, а? Ну, что ты молчишь? Здравствуй, Федя!

— Здравствуй, Галина.— Федор поднял на Галину глаза, полные тоски и злости.

— Что тут? Человека убили?

Зевак собралось уже столько, что кое-кому невозможно было за живой стеной разглядеть происходящее в центре тесного круга.

— Нет не убили! — крикнула Галина.— Но, видно, придется костыль в ход пустить, чтобы чужие разговоры отпала охота слушать. Чего собрались? Цирк, да? На двух человек одна нога — очень интересно. Эх вы, бесстыжие!

Круг распался так же быстро, как и возник.

Подбежал Мишка.

— Тебя в больницу везти, или теперь сама ходить будешь? Постой, постой... Черкашин? Федор Черкашин! Точно, он! Здравствуй, Федор.

— Посмотрели на калеку? Вот и хорошо. Вот и до свиданья!

— Ты что же, и разговаривать не хочешь?

— Не хочу, Галина.

— И думаешь, что мы с Мишкой сейчас так просто повернемся и пойдем? Жалко, что я на костылях. Долгих

разговоров бы не было. Слушай, Мишка, а больница отсюда далеко?

— Да вот, за углом.

— Федя, ты подожди, пока ногу мне врачи посмотрят?

— А зачем ждать?

— Да что я тебе враг, что ты на меня так смотришь? Почему так отвечаешь?

— Ладно, иди, подожду, — хмуро обронил Федор и снизу вверх посмотрел на Мишку. — Закурить дашь?

Галина, неумело торопясь, пошла по улице. Глухо постукивали по асфальту костыли. В голове ни одной связной мысли. Безногий Федор казался пришельцем из плохого сна. Врачу отвечала невпопад, с трудом дождалась конца перевязки, забрала рецепты, и опять торопливо застучали костыли по асфальту. Повернула за угол, увидела знакомую полуторку. На железной подножке сидел Мишка. Федор на своей тележке стоял напротив. Впрочем, какое там «стоял»...

— Ну, Миша, езжай по своим делам, а мы тут с Федором поговорим, — распорядилась Галина.

Спицын молча кивнул, полез в кабину и уехал.

Галина осторожно уселась на теплый камень газонного бордюра, костыли положила рядом. Теперь лицо Федора было вровень с ее лицом.

Плохо выглядел Федор. Совсем опустил человек. Небритый, грязный. Грязь застарела, крепко засела в порах, в крупных, резких морщинах у крыльев носа, в уголках глаз. Волосы сваялись колтуном, в них было много перхоти, а может быть, и гнид. Кроме жалости в Галине поднималась злость.

— Ну, рассказывай, как дошел до жизни такой, что умыться перестал?

У Федора задергалась щека, руки суетливо забегали по дощечкам тележки, а в глазах закипала ярость.

— Умыться, говоришь? Может, мне на речку каждое утро, после физзарядки, бегать? Вон парень из фонтанчика воду пьет. Нагнулся и пьет. Раковины под умывальниками вот на такой высоте прибывают, тазиков мне

никто, не ставит, на руки не поливает, а около настоящего умывальника я выворачиваюсь вот так. Вся вода под мышки течет, а в пригоршни — шиш с маслом. Стулья, столы, кровати — все для ногастых. А в кино я как пойду? Тут только в одной столовой подоконник низкий. Станки для нормальных людей делали, а лапти теперь никому не нужны, корзинки из прутьев — тоже...

Федор продолжал говорить, а Галина слышала только: «...около настоящего умывальника я выворачиваюсь вот так», видела его подавшееся вперед туловище, поднятые над головой, неестественно вывернутые руки, черные от грязи, сложенные ковшиком ладони.

Федор замолчал, опустил голову так низко, что подбородок плотно лег на грудь.

— Думаешь, брошу тебя здесь? — спросила Галина, вытирая глаза.

— А ты думаешь, я с тобой поеду? Кому я нужен? Может, Ганна меня ждет? Был человек — теперь войны довесок, инвалид... Какой там к черту инвалид! Инвалид — это когда пальца нет, руки пускай, а я — калека, снарядом изуродованный. Езжай домой и забудь, что видела Федора Черкашина! Не нужна мне жалость, ненавижу! Мне из жалости пятаки и гривенники бросают, а я их не прошу. Благодетели!.. Ну, прощай, Галина.

— Куда ты теперь?

— Домой.

— Один живешь?

— Кому я нужен.

— Что у тебя там, дома?

— Стены, пол, потолок, два окна и печка. Что есть, то и есть. Прощай.

— Нет, Федор, рано прощаться, — голос у Галины стал жестким.

На дороге около них остановилась полуторка Мишки Спицына. Дверца кабины открылась без задержки.

— Поехали?

— Сейчас поедem. Ну-ка, Мишка, бери этого парня и сажай в кузов.

— Вы что, сдурели? — Федор рванулся на своих колесиках, но крепкие руки Спицына подхватили его под мышки, легко приподняли.

— Брось! Брось, говорю!
Очутившись в кузове, Федор выругался, попытался перевалиться через борт, Галина толкнула его, он упал и еще громче заматерился. Кое-как к нему взобралась и Галина.

— Гони, Мишка, домой!

— Гады, что делаете! — во весь голос кричал Федор.

Машина рванулась вперед, запетляла по переулкам, снова выкатилась на главную магистраль.

— Выпрыгну!

— Прыгай! Чем так жить, как живешь ты, лучше — головой об дорогу!

Федор посмотрел на Галину широко открытыми шальными глазами: «Шутит, что ли?» Нет, она не шутила, и он сразу обмяк, упал боком на ворошок старой соломы.

Галина о возвращении Федора никому не говорила. Но Федор — не шило, его в мешке не утаишь, Федор — человек заметный, мимо такого не пройдешь, не глянув внимательно, не ощутив всей глубины чужого горя. Слух ветром промчался по селу. Вездесущие старухи нашли дела на улице, где подслеповато щурился на них «дворец» Галины. Часто слышались надтреснутые старостью голоса:

— Поликарповна, дрожжец ложки у тебя не найдется?

— Поликарповна! Выдь на минутку! Позычь, милая, маслица стакан до субботы...

Стоит старушка, дрожжей или масла дожидаясь, и выцветшими глазами стреляет: «Где? Где он?»

Иной посчастливится увидеть инвалида, и хватает ей потом дня на два разговоров, ахов, охов и вдохновения на самые нелепые выдумки.

Федор, отмытый, обстиранный, чисто выбритый, постоянно находил себе работу: полочки в кухонном столе приладил, починил расшатанные стулья, разобрал и вычистил старые ходики, и они снова бойко затикали, широко размахивая облезлым голубым маятником.

Маринка котенком-дичком ходила около Федора. Где-то в глубине ее памяти еще жил полустертый временем образ доброго человека, большого мастера выдумывать и делать игрушки. На старом, купленном по случаю, комодке и сейчас стоял вырезанный из тополевой чурки Полкан. Посмотришь на него вблизи — потемнело дерево, растрескалось, видно, где лезвие ножа выхватывало куски древесины. Отступи шага на три и увидишь: ожил пес, ринулся за волком, лисой или лихим человеком, и знаешь, что догонит, рванет клыками, ударит мощной грудью, лапами собьет, сомнет, и не будет пощады. Прошлое толкает Маринку к Федору. Сидит рядом, смотрит на умные его руки, и ничего, а стоять перед ним не может. Ей страшно смотреть на взрослого широкоплечего человека сверху вниз, и бежит тогда она в сад или на улицу.

Четыре дня прошло. Галина все ждала, когда же наконец Федор спросит о жене. Ждала и очень боялась этой минуты. Понимала, как трудно будет им обоим, не знала, чем все кончится. Иногда ругала себя за то, что заварила такую кашу.

На пятый день с утра Федор был особенно беспокойным. Попытался что-то делать, но все валилось из рук. После завтрака, когда в комнате осталась только Галина, Федор подкатился на своей тележке к ее ногам, глянул в глаза с испуганной требовательностью,

— Рассказывай!

И Галина с особой остротой почувствовала, что Федор все эти дни ждал, надеялся и вот не удержался.

— Говори,— хрипло прошептал он. Галина повернула голову к окну, чтобы не видеть его лица.

— Не придет она, Федя. Ждала тебя после похоронной, горевала. Года два назад замуж вышла, дочка у нее нашлась.

— Так... — деревянные стойки-толкачки выбивали мелкую дробь. — Зачем же ты меня везла сюда? Чтобы я себе и другим жить мешал? Калеку пожалеть захотелось? Доброту свою людям показываешь?

— Ну что ты на меня орешь? Дурак, вот как я тебе скажу. От кого ты прятался?

Чего ты, как зверь в норе, сидел? Или Ганна не человек? Ты знал: примет она тебя, возиться с тобой, как с малым дитем, будет. Ты ей свободу хотел дать. Дал. Чего теперь на стену лезешь? Поживи, оглядись, дело рукам найди, а тогда — вали на все четыре стороны. О Ганне забудь, не придет!

А она пришла...

Подламывающимися ногами переступила порог, правой рукой держалась за стену, левая рука у рта, глаза большие, испуганные. Вот-вот крикнет что-то непонятное, страшное. И Галине стало страшно, и ей захотелось закричать: «Что наделала?» Федор сидел на своей тележке, в зрачках тоска, щека дергается.

Муха прогудела, ударилась в оконное стекло, отскочила и снова зажужжала, толкаясь в непонятную для нее прозрачную преграду.

— Как же так? Что же это получается? — Чуть слышно шептала Ганна, а кажется, в полный голос говорила, — что же я теперь такое? — как слепая, прощупывая ступнями пол, пошла к Федору. Около него опустилась на колени, глянула глаза в глаза.

— Как ты мог? Что наделал? И захотела бы я к тебе вернуться — не могу. Ребенку отец нужен. Не могу...

— И не надо, — сказал Федор. — Считай, что меня нет. Проживем.

В комнату вошел запыхавшийся Федор Костров и — прямо к Ганне, взял за локти, поднял с колен, отвел к порогу и снова к Федору подошел. Стоял рядом с ним до обидного стройный, крепкий. Он, наверное, и сам это чувствовал, виновато сказал:

— Прости, солдат.

— Аминь, — глухо выдавил Федор. — И идите. С меня уже хватит.

ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ

Нога заживала медленно. Лишь первого сентября утром двое вышли из «дворца». Маринка шла в школу, Галина — на работу в мастерские.

У ворот эмтээсовского двора Галина встретила Федора.

— С выздоровлением!

— Спасибо.

— Ты там, в моей конторке, подожди минут десять: за папиросами на вокзал сбегаю, тогда и работу тебе подыщем.

— Бюллетень кому сдать?

— В бухгалтерию отнесешь. Потом. Механик вернулся скоро. Сел за стол. По Галине скользнул невидящий взгляд и уперся в стену. Под глазами Федора залегли тени, морщины будто кто плугом пропахал.

«Заварила кашу, сразу троим жизнь с ног на голову поставила».

Механик провел ладонью по лицу от лба до подбородка.

— Куда же тебя определить? Слушай, комбайн твой так всю уборочную и простоял без аккумулятора. Ремонтировать его ни к чему, а вот на сеялки мне посылать некого.

Пойдешь? Дело не сложное, но поработать придется. А весной сеяльщиком будешь работать. Надо быть механизатором широкого профиля. Крепко надо на ногах стоять... Да... На ногах.— Федор тихонько постучал каблуками по истерзанному железом деревянному полу. Есть ноги — так и надо, а если нет их? Вот какая жеребятина получается... — Федор снова уставился в стену, вглядываясь во что-то одному ему видимое.— Как там тезка мой?

— Катается.

— Да... Катается... Вот какая жеребятина. А парень-то, говорят, хороший. Вроде бы, выходит, обидел я его. Так ты на сеялки пойдешь?

— Пойду.

— Ну и хорошо. Иди. Инструмент в кладовой возьми. Что там неладно, сама разберешься, сеялки — не самолет. Иди. Ключей разных возьми, молоток, зубило. Кажется, все.

Галина пошла к двери.

— Подожди! Иди-ка сюда, садись.

В дверь заглянул чумазый тракторист:

— Федор Васильевич...

— Погоди, Дмитрий, потом

зайдешь.

— Так срочно нужно!

— Пожар?

— Нет.

— Вот и подождешь. Закрой дверь.

Галина села на расшатанный табурет, руки сложила на коленях. Вблизи лицо Федора казалось еще более усталым.

«Прямо серым стал. Вот наделала»...

— Может, ты мне посоветуешь? Ну, скажи, как мне теперь быть? Как жить? Как в глаза этому, моему тезке, безногому смотреть?

Галина опустила голову. Пальцы рук сцепила, повернула так, что хруст пошел.

За тонкой перегородкой под ударами молотков звенел металл.

— Что же молчишь? — не выдержал Федор.— Не хочешь говорить, так и сидеть нечего нам с тобой.

— Нет, Федя, я скажу. Скажу, что не виноват ты, Ганна не виновата. Война. Она всему причина. Может, вы с Ганной меня вините? Дело ваше. Не могла я его бросить на улице, всем чужого, неухоженного.

— Кто об этом говорит.

— Может, и не говорите, а думаете. Дело ваше.

— Вот оно как. И Ганна места не находит, и я вроде бы чужим, пришлым незванно опять стал. Везет же... Иди, Галина, работай. Не такое перемалывалось, и это перемелется.

Галина возилась у сеялки. Снимала диски, сошники, задумываясь, била по пальцам, морщилась, совала их под мышку, потом снова принималась стучать по зубилу.

Перед концом работы пришел Федор.

— Понимаешь, какая жеребятина. Собаку я вспомнил...

— На кой леший мне твоя собака, — возмутилась Галина.

— Я про ту, что на комоду у тебя стоит. Резчик он. Скульптор, или как их там называют... Что, если ему хороший тополевый чурбак подбросить? Привезут вроде на дрова тебе, а? Не должен он

утерпеть, если дерево подходящее увидит. Как думаешь, а?

То, что вывалили из кузова трехтонки во двор, и дровами можно было назвать с большой натяжкой. Корневища, кривые — извилина на извилине — сучья, но кусок тополевого ствола был хорош. Он со звоном упал на землю, чуть подпрыгнул и застыл ровной многопудовой тушей.

На следующий день Галина с Федором пилили дрова. Федор смастерил низенькие козелки. «Придется под мой рост подлаживаться», — сказал. Наточил и очистил от ржавчины пилу.

— Давай с самого толстого начнем, — не без умысла предложила Галина.

Федор посмотрел на бревно, хмуро согласился:

— Давай.

— Толстый он очень, может быть, подождем?

— Чего ждать?

Опилки стружкой выбивались из-под зубьев, когда Галина тянула к себе пилу. Хотелось плакать от неудачи. «Черт меня за язык дернул. Подумать ему надо было дать»...

Опилки летели из-под зубьев. Двухметровое толстенное бревно становилось полутораметровым.

Трудно, непривычно пилить, стоя на коленях. Но Федору было еще труднее. Галина терпеливо дергала за скользкую, до блеска обтертую ручку. Пила грызла податливую древесину и перегрызла: толстый кругляк откатился Федору под локоть. Он оперся на него, вытер потный лоб и впервые за все время улыбнулся:

— Давно по-человечески не работал. Я ведь и милостыню собирал. Было время. Запил, пенсии не стало хватать. Ну и клал шапку на тротуар. Кидали медяки и серебро. Больше старушки кидали, — ладонью провел по свежему срезу дерева, лицо обмякло, глаза потептели.

— Оставь этот чурбак. Давай тонкие пилить.

— Давай, — с притворным равнодушием сказала Галина.

...Первые два-три дня Маринка топталась у чурбака, ожидая, когда вырисуется что-то понятное, интересное. Потом ей надоело ждать. Готовила уроки, а щепки с чурбака все летели и летели...

Как-то перед вечером Акулина Поликарповна ахнула:

— Ах ты, господи, живой!..

Сразу поняв, в чем дело, Галина с Маринкой бросились в угол к окну. Из неуклюжего бревна торчала голова. Кепка сбита на затылок, прядь волос ветер сбил набок, глаза зорко прищурены, смотрят вдаль, от прямого носа к хорошо очерченным жестким губам легли морщинки.

— Чабан, — тихо сказала Галина.

— Как угадала? — поднял голову Федор. Глаза его, казалось, светились изнутри.

— Не угадывала я ничего. Посмотрела, и сразу подумалось: чабан.

Маринка опустила на колени рядом с Федором, положила руку на его плечо:

— Здорово как, дядя Федя!

— Живой, ну прямо живой! — Акулина Поликарповна торопливо завязывала платок на голове.

— Мама, новостей сегодня не будет. Пусть Федор спокойно работает.

— Да я, что ж... Разве я для разговоров. Дрожжец попросить надо. Или я сплетница какая... — Акулина Поликарповна обиженно посмотрела на Галину, но платок сняла, бросила на никелированную спинку кровати. А вечером она осторожно водила веником вокруг чурбака, сметая стружки.

Федор смотрел на старушку и улыбался: чурбак становился ценностью, около которой не так уж просто было махать обычным просяным веником.

ЕСЛИ ТЫ ЧЕЛОВЕК

Дед Ржевский забрел во «дворец» совершенно неожиданно. Просто вошел в комнату, смахнул у порога с шапки и бороды снежок, посмотрел на обляпанные грязью и талым снегом сапоги и принялся их стаскивать. Ноги из сапог вылезали со

скрипом. Галина, Маринка, Акулина Поликарповна и Федор смотрели на гостя. Он снял обувь, темные от воды дырявые портянки аккуратно развесил на голенищах, выпрямился и бодро сказал:

— Здравствуйте в вашей хате!

— Заходите, садитесь, — пригласила Акулина Поликарповна.

Дед медленно шел к стулу.

Костлявая голова его вертелась из стороны в сторону. Заметил в углу прикрытый мешковиной чурбак — успокоился.

— Отдыхаете, значит? А я вот к куму ходил да по пути к вам завернул. Как же тебя, Федька, приполовило! Но, думаю, без ног лучше, чем без головы. Ты глянь, сколько по селу ходит байбаков. Ноги есть, а голову — черти с квасом съели. Ходит дуб дубом, дурак дураком. Я по этой части тоже богом, обиженный. Мог бы, конечно, человеком быть, — дед, пощипывая заскорузлыми пальцами бороду, смотрел в угол. — Чего это под мешком прячете?

— Опару на ночь поставили, — сухо ответила Галина.

— Хе-хе... — лицо деда сморщилось в странную гармошку, с мехами вдоль и поперек. — Опара, значит, с нее и щепок настругали. — Старик кивнул в сторону печки, где горкой лежали свежие стружки. — Ты, Федя, покажи свой статуй. Для того и грязь месил через все село. Про кума я, конечно, набрехал. Люблю посмотреть такое, что умными руками сработано. Уважь, Федя, старика. Ежели прячешь, могила — язык проглотчу.

— Знаю я тебя, дедушка, — засмеялся Федор. — До первой стопочки смолчишь, а потом замолотишь.

— Что ж я, такой совсем непутевый?

— Ладно... Маришка, сбрось мешок.

Серая грубая ткань, шурша, сползла с чурбака.

Тусклая электрическая лампочка будто жидким раствором сепии облила белую тополевую древесину, бросила на левую половину лица густую тень, жилистая сильная шея вросла в толщу

дерева, еще не тронутую резцом, как бы подчеркивая единство земной природы с человеком и ставя его выше всего земного. У человека мудрые, устремленные вдаль глаза.

Дед Ржевский вприщурку, как в солнечный день, смотрел на Федорову работу. Смотрел долго, и в комнате была тишина. Для всех обитателей «дворца» мнение деда с каждой минутой обретало все большую весомость, за его молчанием чувствовалось не простое любопытство, а раздумье человека, прожившего большую жизнь,

— Из дерева, а наш. Чабан хороший. С головой чабан. Ты Серегу Фирсова помнишь, Федя? Да где тебе помнить! Овцу знал — будто разговаривал с нею. Никита Ступак, Михаил Вязовой — сильные чабаны. И на всех он похож. Вроде от каждого по крошке взял и слепил. А тулово ты ему не делай, нехай из пенька так и смотрит. В человеке голова всегда главное.

Дед еще минут пятнадцать посидел молча, потом поднялся со стула.

— Значит, не один бог по своему образу и подобию лепить может. Человеку тоже дано. Дано, да не всякому, — пошел к двери, со скрипом влез в сапоги.

— Прощайте. Спасибо, Федя, — открыл дверь, обернулся: — А от людей такое не прячь.

Галина работала прицепщицей у Михаила Рыжова. Михаил — до работы человек жадный. После ночной тьмы чуть засерееет небо, а рыжовский «ЧТЗ» уже начинает уютить землю. Солнце за горизонт юркнет — стоп. До темноты идет чистка, смазка, заправка трактора.

Учетчик поначалу два-три раза перемерял обработанный ими участок. Промеряет — много. В два, а то и в три раза больше нормы. И снова гонит, поворачивая с ноги на ногу деревянную сажень-растопырку. То же самое получается.

— Вы что, друг друга подгоняете?

— Ты, чернильный человек, пиши что есть. Не в бирюльки играем — работаем.

— Долго ли выдержишь? Ведь с темна дотемна. Смотри, нынче двести восемьдесят процентов, а потом как бы одни нули не покатались, — учетчик смотрел на Рыжова и Галину исподлобья, поверх старых очков в тонкой железной оправе.

— Нулей не дождешься, — заверял Рыжов.

— Я и не жду. Предупреждаю. Не таких горячих видел, да остывали эти горячие...

— Вы что, уговариваете меньше делать, что ли? — спросила Галина.

— Да ну вас к черту! Как людей предупреждаю. Добра хочу.

— Прибереги свое добро для других, — советовал Рыжов и уходил спать.

Спали на полевом стане. Рыжов — в общежитии с другими трактористами, Галина — в темной кладовке, куда поселил ее бригадир, сказав:

— Тебе все равно здесь только спать. Окна тебе ни к чему.

Лежала на тонком матраце и думала о Федоре. Не о механике — о своем, что во «дворце» живет.

Пришел в ее жизнь безногий человек сначала обузой легкой, а потом другом, умным и душевным. Маринка от Федора не отходит.

Матери дичится, а к нему льнет, сердце доброе чувствует. Старуха ворчала, а теперь и она в нем души не чаёт.

Лежит Галина в кладовке, и хочется ей стать красивой. Гонит от себя мечту несбыточную и снова к ней возвращается. Не сон, не дремота — мучение. Только уснет

по-настоящему — Михаил в дверь барабанит:

— Подъем, засоня!

...Солнце поднялось высоко, когда Галина заметила на дороге перекошенную полуторку Мишки Спицына. Машина резко затормозила, на минуту окуталась пыльным облаком. Облако унесло ветром, а полуторка осталась.

«Чего Мишке понадобилось? Может, дома что случилось? Неделю в поле пропадаю». Захотелось быстрее

добраться до дороги, но трактор все так же неторопливо полз по пахоте.

На развороте спрыгнула с подножки.

Мишка улыбался, высунувшись из кабины.

— Чего примчался? — спросила его Галина.

— Гостя привез.

— Какого еще гостя? — заглянула в пахнущую горелым маслом кабину и засуетилась:

— Федя! Как же это ты, а? — забежала с другой стороны автомобиля. — Как же так?

— Вот так. Сел и приехал, — Федор виновато улыбался. Худощавое лицо его казалось бледным, больным рядом с широкой загорелой физиономией шофера. Галина глотнула подступивший к горлу комок, спросила у Мишки:

— Назад когда ехать будешь?

— Вечером. Только не этой дорогой.

— Этой поедешь.

— Ты не очень командуй.

— Без команды соображать должен. Федя, вытяну я тебя, ладно?

— Тащи!

Тракторист искоса смотрел на Галину. А она, поставила Федора на подножку сеялки и крикнула:

— Гони!

— Заправь семенами, чего даром по полю ездить.

Покраснев от смущения за свою оплошность, Галина одним махом вывернула мешок семечек в короб.

Трактор, уже в который раз, пошел к лесополосе. Федор широкоплечим ребенком стоял на узкой деревянной доске и по-ребячьи разглядывал все вокруг.

На развороте, у кустов, Рыжов застопорил трактор.

— Останешься здесь? — спросила Галина у Федора.

— Прокати еще разок. Соскучился по земле. Я, может, мешаю? Тогда оставь.

— Что ты! Поехали! Катайся, сколько хочешь. Поехали, Максим!

Три раза пересек Федор поле туда и

обратно, потом попросил;

— Хватит, высади. Побуду сегодня и в степи, и в лесу.

Галина покосилась на жиденькую лесополосу, вспомнила родные северные леса, вздохнула:

— Тоже... лес...

Федор остался. Галина несколько раз оглядывалась, но густолистый молодняк заслонила его. Во время заправки сеялки Рыжов спрыгнул с трактора, подошел к Галине.

— Родственник он тебе?

— Нет.

— Зачем же обузу такую себе на шею взвалила?

— Если ты человек, должен понять — почему, и не надо об этом разговаривать.

Максим потер ладонью щетинистую щеку и пошел к трактору.

Их поле было близко от бригадного стана. В обед, оставив трактор у дороги, Максим и Галина заторопились к видневшимся из-за деревьев крышам.

У раздаточного окна кухни толпились трактористы.

— Ребята! — заорал Иван Грицай. — Ребята, у Рыжова полтора прицеппика работает: Галина, а рядом с нею половинка, — широко раскрыв большой рот, Иван захохотал.

Рыжов шагнул к нему, коротко размахнулся и ударил. Грицай упал, потом сел, уставился на Максима ошалелыми от боли и удивления глазами:

— За что бьешь, гад!

— Не понял? Еще добавлю.

— Не трогай его, Максим. Что с него, дурака, взять.

— Тогда на курсах я дураком не был, да? Забыла, речки, садочки? — косо усмехнулся Иван.

— Ах ты!.. — шагнула к нему Галина.

Грицай сжался, прикрыл большими руками кудлатую голову, но Галина остановилась, повернулась к Рыжову:

— Пойдем, Максим. Ребята, я без очереди возьму обед, человек там ждет. Ладно?

— Бери, чего там! Марковна, всыпь ей на двоих.

— Привет Федору передавай!

В июле, перед началом уборки хлебов, в колхозный Дом культуры неожиданно пожаловала передвижная художественная выставка. Вездесущий дед Ржевский пришел первым, чинно поздоровался с невысоким седым человеком в очках и пошел вдоль стен, увешанных картинами. У некоторых останавливался, мимо других проходил без задержки. Долго стоял перед двумя скульптурами. Одна изображала комбайнера в комбинезоне и защитных очках, сдвинутых высоко на лоб. Рядом стоял, опершись на ярлыгу, одетый в широченную кавказскую бурку, чабан.

Дед поймал за рукав проходившего мимо распорядителя выставки.

— Разговор есть.

— Пожалуйста, пожалуйста. Чем могу служить?

— Вот гляжу я на этих два статуя и думаю, не наши это люди. Не сельские.

— То есть как, простите? Не понимаю.

— Чего же непонятного? Бурка вот есть, а чабана нет? Одна одежда. В человеке голова — главное, а тут вобла сушеная из-под папахи выглядывает. И комбайнер не наш, не сельский.

— Вы зритель, товарищ, и, конечно, вправе высказывать свое мнение об экспонатах выставки.

— О чем?

— О картинах, скульптурах.

— Вы сами чего-нибудь мерекаете в этом? — старик провел рукой по всему помещению.

— Да, я художник. Вон две моих картины.

У картин этих дед остановился, и в голосе его появилась уважительность.

— Правильные картины. Тогда я вас поведу... — Ржевский поперхнулся, увидев Галину.— И ты тут? Ну, ладно. Вот, веди гражданина до Федора. Нехай товарищ художник посмотрит.

— Пойдемте, — сказала Галина.

— Позвольте, а как же выставка. Я не могу оставить...

— Я посторожу,— пообещал дед.

— Объяснения надо дать. Ответить на вопросы...

— Объясню и ответю.

— Что ж, пойдемте. Но я, честное слово, ничего не понимаю.

Художник шагал рядом с Галиной упруго, размашисто. Когда прошли километра полтора, спросил:

— Далеко еще?

— Теперь близко.

— Простите. Мы идем к вашему родственнику, который рисует коврики? Так ведь?

— Нет, не так.

— Ага, это уже интереснее. Может быть, вы все-таки приподнимете занавес таинственности?

— Зачем? Сами сейчас завидите, заглянете за этот самый занавес.

Федор возился с замысловатым закрученным корневищем карагача. На Галину глянул вопросительно:

— Это художник.

А художник растерялся, увидев перед собой безногого человека.

— Не знаю, чем могу помочь?

— Помощи я не просил, — нахмурился Федор.

Акулина Поликарповна смотрела на гостя, заслонив вырезанную из тополя голову, видна была только часть основания бревна.

— Мама, отойди-ка в сторону.

Художник быстро смахнул очки, протер их, снова надел. Подбежал к чурбаку.

— Помогите мне повернуть к свету. Окна малы. Но ничего. Вот так. Еще немножко. Хорошо.— Отошел шага на три.— Стул дайте, пожалуйста. Спасибо.

Несколько минут смотрел молча.

— Еще какие-нибудь работы есть?

Федор пожал плечами:

— Откуда быть.

— Вы что, раньше никогда не резали по дереву?

— Как не резал? Резал. Потомственный резчик. Но больше орнаментами занимался. В свободное

время. То буфет соседу украсишь, то комод. Наличники на окна мастерил.

Галина принесла художнику Маринкиного деревянного Полкана. И для него художник искал нужное освещение. Снова долго смотрел.

«Не нравится,— думала Галина, — Вякнет, черт очкастый, что-нибудь сдуру, сразу собьет человека с хорошей дороги».

— Поразительно! Талантище-то - какой громадный, самобытный! Позвольте пожать вам руку и от души поздравить с большой творческой удачей.

Федор посмотрел на испачканную землей ладонь, вытер ее о полу пиджака, протянул художнику.

Распорядитель выставки не слишком надеялся на деда Ржевского и скоро стал прощаться. Уже в дверях спросил:

— Можно, я возьму собаку с собой?

— У этого пса есть хозяйка. Вот ее дочь. Маринка.

— Не отдаст она Полкана, — уверенно сказала Акулина Поликарповна.

Вечером художник снова пришел, специально для разговора с Маринкой. Уговаривал долго, но безрезультатно.

— Не отдам Полкана. Вот он, смотрите. Кому захочется, пускай приходит и смотрит, а из дома не отдам.

Художник просил Федора посодействовать, но тот только улыбался и качал головой:

— Не могу. Маринка — хозяйка. «Чабана» я еще никому не дарил, можете забирать.

— Ваш «Чабан» — художественная ценность. Его так просто в кузов грузовика не бросишь, а собаку я смогу довести, показать кому следует. Ведь от этого зависит ваше будущее, материальное благополучие, если хотите,— горячился художник.

Федор продолжал улыбаться, а Маринка упорствовала:

— Не отдам.

Поздно вечером, после ухода художника, сидели за столом, пили чай. У всех было приподнятое, веселое настроение. Маринка рассказывала, как их учитель физики, проспав, примчался в

класс спустя пять минут после начала урока и только к концу занятий обнаружил, что щеголяет в рубашке, одетой наизнанку. Девушка очень удачно изобразила, какое при этом было лицо у молодого учителя, как он, сидя за столом, старался ладонями прикрыть ворот и рубчики швов на плечах. Все хохотали. Когда насмеялись вдоволь, Галина сказала, задумчиво глядя в лицо Федору:

— Вот и нашел ты, Федя, дорогу.

— Кажется, нашел, — улыбнулся Федор. Улыбка внезапно сошла. Серые глаза настороженно глянули в зрачки Галининых глаз.

— Напоминаешь?

— О чем? — удивилась Галина.

— Был разговорчик. Ты сказала: «Найдешь рукам настоящее дело — катись на все четыре стороны». Выходит, дело я нашел, осталось только катиться.

— Да ты что?

— Я понимаю. С инвалидом, с калеккой, кому охота возиться. Я понимаю и не обижаюсь.— У Федора снова задергалась щека. Такого давно не было.

Маринка бросилась к Федору:

— Не надо куда-то катиться. Мы все вас очень и очень любим, дядя Федя. Правда, честное комсомольское. Ну что ты молчишь, мама! Скажи!

— Очень любим, Федя.

— Господи, и выдумает такое. Куда катиться? А тебя, Галька, за косы отодрать бы надо. Чего мелешь?

— Да что я мелю? Что вы все на меня взъелись. Рада я за него, как за брата, как за родного человека рада. Тогда, в горячке, я и не такое могла сказать. Тогда и надо было такое, чтобы как пощечина, как кнут. Никто никогда тебя не прогонит. Разве сам уйдешь, когда большим человеком станешь.

Щека у Федора стала дергаться еще сильнее.

— Спасибо.

— Дурной ты, Федор. Ой, какой дурной, — растрепала волосы на его склоненной голове.

ИНТЕРВЬЮ ДЕДА РЖЕВСКОГО

На девятом десятке дед Ржевский по улицам стал бегать меньше. Колхоз ему дом небольшой построил. Федор наличники на все четыре окна вырезал, карнизы кружевным узором под крышей пустил. Игрушка получилась. Старик на улице скамейку приладил и, когда начинали болеть ноги, сидел на ней, словно рыбак, вылавливая собеседников. Уловы были скудными, как в местном пруду. Мелкий «карасик» («Здравствуй, как здоровье, до свиданья») попался, а крупная «рыбина», такая, что долго кругами водит леску, — дело редкое, до обидного редкое.

И вот прохладным октябрьским днем подвалил деду собеседник — корреспондент газеты. Председатель колхоза кукурузой был занят, рассказывать об изменениях, происшедших в селе за сорок пять лет Советской власти, времени совсем не имел и спровадил гостя к деду Ржевскому, рассудив, что беды от этого не будет, а польза вполне очевидна.

— Присесть можно на вашей скамеечке?

Дед ушам не поверил, а когда дошла до него суть просьбы, с готовностью новыми штанами по гладко выструганной доске:

— Сидайте.

С трудом выдержав паузу, предписанную местным кодексом правил приличия спросил:

— Издаля идете?

— С вокзала.

— До кого, если не секрет?

— На буровую.

— Верст восемь еще топать. Как они там, до нефти еще не продолбались?

— Не знаю.

— И не будет ее.

— Почему же?

— Восемьдесят три года тут живу,

колодезя были глубины страшенной, а кроме воды ничего не откапывали.

— Восемьдесят три года! Настоящий старожил.

— Настоящий, — кивнул дед. — Настоящей меня разве только Домна Ржевская. Лет на десять вперед меня родилась. Девка красивая была. Парни

гуськом за ней бегали.

— Сестра ваша?

— Какая там сестра! Тут половина села Ржевские. Родственники через дорогу навприсядку.

— Как же вы до революции жили?

— Да так и жили. Овечек держали, землицы понемножку было, а больше на Войцеховского работали. Помещик был у нас — Войцеховский Григорий Захарович, чтоб ему на том свете без передыху икалось.

— Школа была?

— А как же, была. Церковно-приходская.

Лавка, церковь. Больше вроде и ничего. Потом революция. Помещика наладили. Я под его дома соломки подкинул да поджег. А потом жалковал. Хороший дом был. Сельсовет сделать можно было или правление колхозное, или клуб.

— В революции, значит, участвовали?

— Нет. Дом поджег и года два трусился. Оно как было: то белые придут, то красные. Стрельба сплошняком, пули свистят, а я в погребе сижу. Так и пересидел. Наши, конечно, воевали. Ковальчук Мирон, Соловьев, Мартынов, Сирота, Афонин. Много народу воевало. После революции тоже не мед жизнь была. Перед войной вроде получшало, а в войну опять наперекосяк пошло. Теперь вот жить можно. Хучь заявление еще лет на сто жизни пиши. Можно жить. В Москве мужик, что в радио работает, кашляет, а я уже слышу. Электричество — пожалуйста. Кино по телевизору в кровати лежа смотреть можно.

— А народ в селе хороший?

— Народ, милый человек, всегда хороший. Есть, конечно, попадаются некоторые. Вот, скажем, Иван Грицай. На комбайнера выучился. А, думаешь, для чего? К зерну поближе. Чувалами таскает. А поймать его прямо с ворованным ни у кого руки не доходят. А он сезон на комбайне отбарабанит, а потом начинается у него отдых наполоам с торговлей. На боку поваляется, на базар съездит, опять на бок, опять на базар. Так ванькой-встанькой до начала уборки и трудится. То

хоть в прицепщики ходил, а теперь и это бросил. А еще Мишка Спицын. Этого поймали. Галина прямо с машиной ворованных досок в милицию Мишку доставила. Пять лет дали.

— А кто эта самая Галина?

— Сразу видать, что не здешний. Нашу Галину все знают в селе, и в районе, и в крае тоже небось знают. Как уборка — так про нее и в газетах, и по радио, кукурузу сеют — тоже про нее говорят, овечек стригут — опять же про Галину. Ей эти корреспонденты — хуже горькой редьки. Работать надо, а они как мухи на мед: «А как вы это», «А как вы то»... Маята! Про меня ни разу не писали. А почему? Вот спроси меня — почему? Работал мало? Как конь тянул. Плохо работал? Опять нет. Хозяиновали так. Один две грыжи навесит, другой ладошка об ладошку хлопнет, да и то по холодку, — плата одинаковая. Трудодень тот — тьфу! Запаршивели было совсем. И хоть три грыжи ты наживи — про тебя молчок, потому колхоз отстающий. А теперь интерес есть. Больше работай — больше деньги, хорошо работай — про тебя в газету пропишут. Человеку и приятно — люди его труд приметили. Вот оно как.

— А теперь в селе что есть?

— Гляди. Ты про школы да про магазины будешь спрашивать, про клуб да кино. Все приезжие про это спрашивают. А я про это не рассказчик. Походи сам, посмотри. В человеке что главное? Голова. А в селе что главное? Люди. Вот как. Люди — главное. Про безногого Федора Черкашина слыхал?

— Это вы о скульпторе Черкашине? Конечно, слышал.

— Во! Федора знаешь. А Галину не знаешь. Кем был Федор без Галины? Побирушкой. Понял? Из сору она его вытащила, из самой что ни на есть грязюки. Теперь вместе они живут. Давно вместе. Друг за дружку кому хочешь горло передерут, а не муж и жена. Почему так? Потому что хорошие они люди. Десять лет под одной крышей живут, один хлеб едят, а не муж и жена. Почему так? А я скажу. Федор без ног, а Галина — баба здоровущая, а с лица — не то чтобы урод, но

и красоты нету. Понял, какая петрушка? Боятся друг другу в тягость быть. Дурьи головы. За сорок уже каждому. Славы много, а счастья нету. И знаешь, что я тебе скажу? Хорошему, мозговитому человеку долго счастья быть не может. — Дед широко открыл глаза, многозначительно поднял узловатый, истонченный старостью палец. — Не может быть! Вот как!

— Почему же?

— Ладно. Подвалило человеку счастье. Разомлел человек. Сидит оскалывается. День оскалывается, два, а потом надоест ему...

— Это, конечно, примитивно очень. Чего бы я сидел два дня подряд улыбался?

— Ага, выиграй по облигации десять тысяч рублей — неделю скалиться будешь...

— Сдаюсь! — расхохотался корреспондент. — Шут с ним, со счастьем. Вы говорите, люди — главное. Расскажите еще о, них, о ваших односельчанах, о хороших людях.

— Это можно, — улыбнулся дед. — Борис Соловьев, Мирон Ковальчук, Корней Кирпань, Федор Костров, Ефим Мищенко, Сергей Краснюк. Ты, товарищ корреспондент, доставай бумажку, карандаш и пиши. Много хороших людей, всех не упомнишь. Пиши, а потом, с каждым поговори и узнаешь, что у нас есть. Понял?

(Повесть печатается с сокращениями)